



ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРОЗА

15 июля 1979 года исполняется 75 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова.

Чехов, создавший свой неповторимый художественный мир, проложил новые пути в словесном искусстве и оказал огромное, продолжающееся и по сей день влияние на всю последующую русскую и мировую литературу.

Воздействие его гения особенно заметно на примере творчества младших современников — И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, для которого оказались очень важными чеховские уроки лаконизма и достоверности в прозе, юмора, добродушия, простого, ясного и вместе с тем образного языка.

Писатель Олег Михайлов, занимающийся работой над художественно-документальной повестью о Куприне, посвящает ряд страниц творческому и человеческим отношениям Чехова и Куприна, их глубиной и задушевностью дружбы.

Сегодня «Литературная Россия» печатает фрагмент новой повести О. Михайлова.

БЕЛЫЙ каменный домик в Аутке осаждали посетители. Ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры — кто еще не приезжал сюда. На железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, целыми днями висли, разинув рты, девушки в белых войлочных широкополых шляпах.

— Антон Павлович занят и никого не принимает, — заметно заикаясь, объяснял полной, смело декольтированной даме Сергей Яковлевич Елпатьевский, беллетрист, гордившийся тем, что образование врача позволяло ему в Ялте следить за здоровьем Чехова. — Кроме того, он чувствует себя неважно...

— Бог мой! С певцом осенних сумерек нас объединяет общая беда — мои слабые легкие, — трубным контральто отвечала дама и заглядывала через его плечо. — Мне он очень, очень нужен!

— Очевидно, сударыня, для последнего причастия... — скороговоркой сказал, спускаясь от шоссе к калитке, коренастый силач в мешковатом пальто — широкоплечий, стриженный каштановым ежом. — Ваш изможденный вид подтверждает, что состояние тревожно...

— Ах, право, мне не до шуток! — наступала дама, отсесняя Елпатьевского большой грудью. — Может быть, я только ради этого ехала в Ялту из Чебокара.

— Сергей Яковлевич, — сузил гость смеющиеся маленькие серосиние глаза. — Лишь вы можете поставить диагноз без подробного освидетельствования больной на месте...

Сухое покашливание прервало его тираду. Чехов, высокий, стройный, с усталым и добрым лицом, шурясь через пенсне, стоял у входа.

— Вы забыли, господа, что я тоже лекарь.

— Антон Павлович! — закричала дама неожиданным дискантом и легко отодвинула Елпатьевского с дороги. — Перед вами вдова акцизного чиновника — страстная почитательница вашего хмурого таланта! О, только поглядеть на вас, побеседовать с вами — какое это счастье! Я так люблю ваши сочинения...

Чехов, подняв большое спокойное лицо, смотрел на море, синей стеной вставшее до горизонта.

— Какие же именно, смею спросить? — низковатым голосом проговорил он.

Дама растерянно оглянулась на Елпатьевского, словно ища у него защиты.

— «Наштанка»... — пролепетала она, порывисто дыша. — И еще... «Гуттаперчевый мальчик»... Как это? Да помогите же, господа!

Чехов снял пенсне и твердо сказал: — Доктор Куприн прав. Вам надо немедленно ехать лечиться. На кумыс! В Башкирию! Сергей Яковлевич, проводите больную...

Елпатьевский взял обмякшую даму под руку и повел к шоссе. Еще долго его гудение, прерываемое заиканием, сливалось с растерянным кудахтаньем дамы.

Чехов надел пенсне и захохотал — беззаботно, мальчишески.

— Нет, вы видели? И сколько таких поклонниц! Вы обратили внимание? У этой дамы такой вид, словно под корсажем у нее жабы!

Куприн усмехнулся, но тут же возразил армейской скороговоркой:

— По мне бы, Антон Павлович, нечего с ней рассусоливать. От ворот поворот. Без экзаменовки... А то все вокруг только тем и заняты, что мешают вам работать. Право, заговор какой-то! Да еще я навязался на вашу голову...

— Ай-й-й! — Чехов улыбался добро и грозил пальцем. — Вы позабыли, что мы сегодня трудимся вместе.

Он пропустил Куприна и пошел с ним к дому маленьким садом, где только зацветали абрикосы и миндаль. — Высокий, в мягкой черной шляпе и пальто, постукивая тросточкой.

— У меня вчера была чудесная встреча... На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, поручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» — и покраснел. Такой чудесный мальчик, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись...

Куприн слушал его и, морщась, ругал себя за то, что отнимает время у этого деликатнейшего из когда-либо встречавшихся ему людей. Посетители и гости дожимали Чехова, даже раздражали его, но он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен. Безотказная доброта Чехова доходила до той трогательной черты, которая уже граничила с безволием.

Он готов был повернуться и убежать. Как неудобно все выходит! Приехал с Буниным из Одессы в Ялту, остановился за Ауткой, нанял комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. И черт дернул пожаловаться Чехову, что в такой обстановке работать невозможно. И вот Чехов настоял, чтобы Куприн непременно приходил к нему с утра и занимался внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я наверху», — говорил Чехов со своей обезоруживающей доброй улыбкой. — А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре...

Куприн привык писать где-нибудь «на тычке», на кончике стола, среди шума и редакционной толкотни, а тут — отдельная комната и полная тишина! Он приходил утром работать, а Чехов озабоченно спрашивал, сдвигая брови: «Может быть, перо не годится? Вы не стесняйтесь! Я по себе знаю — иногда из-за плохого, скрипящего пера вся работа идет черт знает как».

Здесь, в чеховском домике, Куприн писал рассказ «В цирке» — о могучем и добродушном борце Арбузове.

Работалось ему весело, но все же ухо было повернуто назад, к двери. И иногда он отчетливо слышал, как Чехов, проходя по коридору, вдруг начинал ступать как-то по-другому, осторожно, всей пяткой, чтобы не произвести лишнего шума, или шикнул на горничную Марфушу, когда она гремела посудой. Все это трогало Куприна...

— Пишете вы с завидной увлеченностью, — проговорил Чехов, входя с Куприным в большую прохладную столовую.

— Еще бы! — ответил Куприн. — Тема сама по себе не сильно сложная — смерть борца после состязания, которое нельзя отменить. Профессиональный атлет, русский, даже полунинтеллигент, должен состязаться с американцем Джоном Ребером. Он уже внес сто рублей на пари, и афиши выпущены. Но с утра он чувствует озноб и лень во всем теле. Видит на репетиции утром своего противника — тот тренируется — и ощущает страх. Вечером борется, побежден и умирает...

— Тут много психологии, — заметил Чехов.

— И какой простор для меня! Цирк

днем, во время репетиции, и вечером, во время представления, жаргон, быт, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и цирковых поз, волнения толпы...

— Цирк вы знаете лучше, чем я, — сказал Чехов. — А вот по лекарскому делу я обязан преподавать вам лекцию. — И прибавил требовательным баском: — В этих делах, сударь мой, надо, чтобы комар не мог носу подточить! Да и вообще примите во внимание, что читатель — человек строгий, его даже на крупную опасно обмануть...

Он прошел в кладовую, где стояла мышеловка, тотчас вернулся, держа за кончик хвоста живую мышь, и вышел из дому. Куприн знал, что Чехов понесет ее через сад, вплоть до ограды, за которой тянется татарское кладбище на каменном бугре, и осторожно бросит туда. В окно было видно, как Чехов шел назад, слабо улыбаясь чему-то своему и постукивая тростью. Но уже с порога, вновь преобразившись, он живо спросил:

— Отчего гибнет ваш герой, вы знаете? Ведь рассказ попадет и к медикам...

— Гипертрофия сердца... — смущенно сказал Куприн. — Болезнь грузчиков, кузнецов, матросов.

— Извольте снять пальто и подняться за мной в кабинет! — с шутилкой строгостью приказал Чехов. — Мы решим сообща, на какие именно симптомы болезни вам надлежит обратить особое внимание. Выделить их так, чтобы ее характер не оставлял сомнений.

Кабинет у Чехова был небольшой, скромный. Прямо против входной двери — квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны — письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем. В нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине комнаты, — коричневый кафельный камин с вечерним пейзажем Левитана. В самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Чехова, веселая, светлая комната. На стенах кабинета — портреты Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей.

Итак, садитесь на диван и внимайте. — Чехов снял пенсне и, как заправский лектор, принял важную позу. — Гипертрофия сердца... У людей, занимающихся усиленной мускульной работой, стенки сердца от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «cor bovinum», то есть бычье сердце...

Незаметно Чехов сам увлекся своей ролью. От описания паралича сердца и предшествующих ему явлений он перешел к другим сердечным болезням: приводил грустные и смешные примеры из собственной практики, говорил о трудности диагноза при сердечной недостаточности, о тонкостях лекарского искусства, которое достигается единственно опытом, наблюдениями... Куприн позабыл о том, что собирался записывать подробности. «Да, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, — думал он, — он был бы прекрасным врачом».

— Ваш атлет умирает после схватки с противником? — внезапно спросил Чехов.

— Возможно... Или скончается прямо на арене... После того, как американец припечатал его к тырсе...

— Тырса? Что это?

Куприн улыбнулся смущенно, стесняясь, что знает что-то, что не известно Чехову.

— Это смесь глины и древесных опилок, которой посыпается арена... Впрочем, во время борьбы арену обычно застилают брезентом.

— Так вот! — Чехов, играя пенсне, рассказывал по кабинету. — Представим все в последовательности.

— По замыслу, — сказал Куприн, — накануне состязания атлет переживает сердечный приступ. Врач осматривает его и настоятельно рекомендует отложить состязание...

Чехов откликнулся, подчеркивая каждое слово взмахом пенсне:

— Бешеный пульс, холодные руки, расширенные зрачки. Однако отложить борьбу невозможно...

Он закашлялся и кашлял долго, сухо, прикрыв глаза рукой. Подошел к столу, отвернулся, сплюнул мокроту в баночку и вытер рот платком. Постоял немного. Лишь на мгновение по его лицу прошло облачко, и вновь оно сделалось добрым и приветливым.

— А сама смерть, — глуше, чем обычно, сказал он, — наступает после поражения, в цирковой уборной. Вместе с чувством тоски, потерей дыхания, тошнотой, слабостью...

Куприн, соглашаясь, кивнул головой. Очень самолюбивый, он в разговорах с Чеховым не испытывал никакой ущемленности, спокойно сознавая его правоту и превосходство.

В кабинет неслышно вошла скромная, гладко причесанная женщина в простом холстинковом платье.

— Что, Ма-Па? — ласково сказал Чехов.

— Обедать, Антоша... — отвечала сестра, с нежностью глядя на него лучистыми — чеховскими — глазами.

Куприну еще никогда не доводилось видеть такой дружбы между братом и сестрой, как у Антона Павловича и Марии Павловны. Они понимали друг друга с одного взгляда, легко читая все, что происходило в душе каждого. «У меня с сестрами, — подумал он невольно, — ни с Софьей, ни даже с любимой — Зиной — такой близости не было. Я их любил обычной любовью. Но она не переходит в родство душ...»

Куприн знал, что Мария Павловна, не желая нарушать течение жизни Чехова, не вышла замуж, вообще отказавшись от личного счастья. Чехов был также убежден, что никогда не женится, — до встречи с Ольгой Леонардовной Книппер, прекрасной артисткой Художественного театра. Но именно Мария Павловна, чутко ощутив зарождение увлеченности, попутно рекомендовала брату, побывав в третий раз на представлении «Чайки» и расхвалив игру актеров МХТ: «...советую поухаживать за Книппер. Помоему, она очень интересна...»

С появлением в его жизни Ольги Леонардовны Чехов все время ощущал вину перед сестрой и был по отношению к ней особенно внимателен и нежен.

— Обедать, обедать! — хлопнул он в ладоши. — И вы, господин убийца, только что отравивший на тот свет атлета! Немедля к столу!

Куприн покачал головой:

— Благодарю, Антон Павлович. С обедом меня ждет хозяйка.

Чехов, слегка откинув голову, внимательно посмотрел на помрачневшего гостя. Куприн сидел без гроша. Перед отъездом в Ялту он сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Гонорар запаздывал, и, конечно, обед у хозяйки был чистым вымыслом. Но живя впроголодь, Куприн тем более стеснялся оставаться на гостеприимной даче в роли нахлебника.

— Ничего, — непреклонно сказал Чехов, — ваша хозяйка подождет. А пока — за стол, и без разговоров! Когда я был молодой и здоровый, то легко съедал два обеда. А вы, уверен, отлично справитесь и с тремя!

Поборов неловкость, Куприн спустился в столовую. Там царствовала мать Чехова — старенькая и мудрая Евгения Яковлевна, великая мастерица на всякие соленья и варенья. Угощать и кормить было ее любимым занятием. Гостей она принимала, как настоящая старосветская помещица, с той только разницей, что делала все сама, своими искусными руками: ложилась позже всех и вставала всех раньше.

— А вот еще курничка, голубчик, положи себе... — говорила она Куприну с характерным южным придыханием на букву «г». — И ставридки горячей не забудь, не то остынет — свежая, черноморская...

Чехов, по обыкновению, ел чрезвычайно мало. Вязло поковырял в тарелке, он встал из-за стола и прохаживался от окна к двери и обратно. Заметив, что Куприн робко поглядывает на пузатый, потный от холодной влаги графинчик, Чехов остановился за его стулом:

— Послушайте, выпейте еще водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а за столом выпьешь рюмочку. Чудесно!

Куприн благодарно поглядел на него. Чудный дом, чудная семья! Он почувствовал себя легко, непринужденно, расправил плечи, так что мышцы буграми заходили под скромным пиджаком.

— А вы, господин писатель, наверняка сами занимались классической борьбой, — сказал Чехов. — А может быть, еще и боксом?

— Угадали, Антон Павлович, — блеснув узкими глазами в улыбку, отозвался Куприн. — И борьбой, и боксом. Но попробуй об этом признаться в цивилизованном обществе! Борьбу как занимательное зрелище еще снисходительно допускают. Но на бокс смотрят как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять, — он тронул свой мягкий, сломанный в боксе нос. — Не понимают, что бывают случаи, когда знание простейших приемов может оказать неоценимую услугу...

— Вот как? — удивилась Мария Павловна. — Например?

Воодушевленный общим вниманием, Куприн продолжал:

— После выхода в отставку я довольно долго жил в Киеве. Чем только не занимался, чего не перепробовал! Раз поздно вечером возвращаюсь домой. На улице темно и морозно. И вот на одном из перекрестков из-за угла выскакивает рослый дядя и требует деньги, часы и пальто...

— Ах, боже ты мой, деточка бедная! — не удержалась Евгения Яковлевна.

Чехов присел к столу, чтобы было удобнее слушать.

— Признаюсь, — рассказывал Куприн, — что в моем кошельке было всего-навсего несколько серебряных монет, и расстаться с ними не было жалко. Часы находились в закладе. Но своим единственным, хотя и сильно поношенным пальто с собачьим воротником я дорожил и, разумеется, расставаться с ним не собирался. Вы можете подумать, что я начал кричать и звать городского. Ну, нет! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже более небоеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Теперь ты будешь знать, мерзавец, как отнимать у человека последнее пальто...»

Чехов, зорко, весело глядя на Куприна, сказал:

— Сейчас я хорошо понимаю, отчего вас так тянет к циркачам, акробатам, борцам.

— Человек должен развивать все свои физические способности! — нагнув голову, упрямо проговорил Куприн. — Нельзя относиться беззаботно к своему телу. А наши литераторы — на кого они похожи! Редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривоноги, при ходьбе выхлываются всем туловищем, загребая ногами или волочат их — смотреть противно...

— Это уже в вас говорит строевик, офицер, — откровенно любующься Куприным, добавил Чехов. — Военная косточка — чудесное начало.

— А мне так часто колют глаза, как чем-то постыдным, моим офицерским прошлым, — возбужденно откликнулся Куприн. — И кто? Эти слабые духом и немощные телом монстры! Вы заметили, Антон Павлович, что почти все они носят пенсне, которое часто сваливается с их носа? Я уверен, что в интимные минуты они роняют пенсне на труд любимой женщины...

Он осекся, внезапно вспотев. Чехов хохотал беззвучно, падая головой на колени. Мария Павловна деликатно вышла из комнаты.

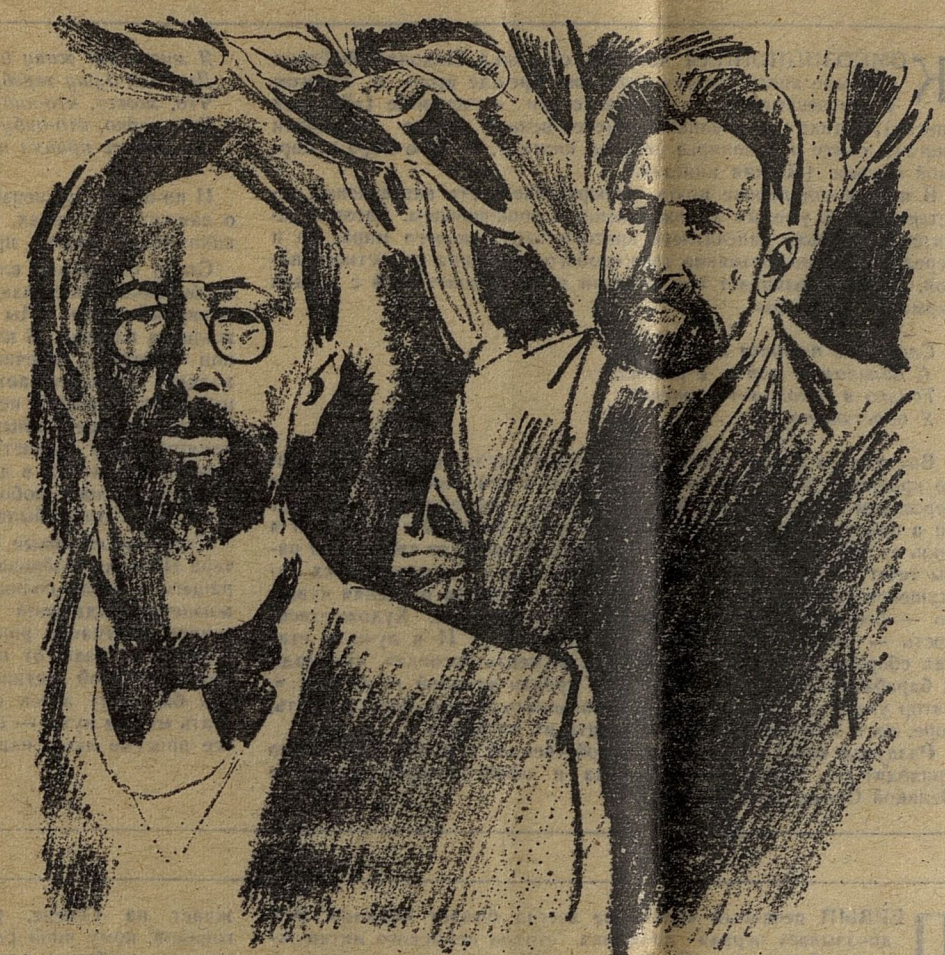
Не сразу успокоившись, Чехов наконец ответил, сдерживая рыдания смеха:

— Вы совершенно правы, Александр Иванович. Пенсне — штука безобразная... Но те, кого угораздило носить пенсне, уверяю вас, в интимные минуты им не пользуются.

Евгения Яковлевна, мало улавливая суть происходящего и думая о своем, с тоской в голосе произнесла:

— Антоша! Ты опять ничего не ел!

Чехов поднялся, с немой улыбкой подошел к матери и, взяв ее вилку и



ложик, начал мелко-мелко резать ей мясо.

— Ты нас угостишь с Александром Ивановичем чаем... На террасе. — с ласковой серьезностью сказал он.

Куприн все еще не мог прийти в себя от глухой оплошности. «Офицер! Деревяшка! — повторял он. — И надо же было такое ляпнуть!»

— А вы не знаете, куда запропастился Бунин? — отвлекая его от самостязания, спросил Чехов. — Второй день не кажет глаз.

Бунин все еще жестоко страдал — и от недавнего разрыва с женой, красавицей-гречанкой Анной Николаевной Цакки, и от невозможности видеть маленького сына. Он таил боль глубоко в себе, шутил, балагурил, до слез смешил Евгению Яковлевну, Марию Павловну, самого Чехова...

Сбивая затнувшуюся паузу, Куприн сказал своей излюбленной скороговоркой:

— Сидит по утрам в кофейне Верне.

— Удобное место для молодого человека! — нарочито ворчливо ответил Чехов, пряча грусть за стеклами пенсне. — Устроился за столиком на набережной, возле купальни. Смотрит на купальщиц — как вздуваются в воде их рубашки.

«Никогда от шуток Чехова, — подумалось Куприну, — не остается заноз в сердце. Так же, как никогда в своей жизни этот удивительный нежный человек сознательно не причинил ни малейшего страдания ничему живущему!...»

После чая они сидели с Чеховым в саду, на лавочке, следя, как клонится солнце к вершине Яйлы. Перед хозляком преданно вертелись две собаки — Тузик и Каптан, названный в честь исторической Каптанки.

— Как трогательна эта робкая доверчивость животных, — сказал Куприн.

— Как и детей, — тихо добавил Чехов.

Животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову, искали его дружбы.

— И страшно, когда беззащитные существа страдают от грубости, жестокости, бездуховности... — Куприн поглядел сбоку на Чехова: у того стекла пенсне от заходящего солнца казались розовыми. — Как ужасен был для меня в раннем детстве переход от семьи к казарме сиротского училища, а потом — кадетского корпуса! Бывало, грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами... И знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя...

Чехов молчал, вода тростью по песку. Затем просто сказал:

— Знаете, у меня в детстве не было детства.

И сразу собственные слова показали Куприну выспренными, излишне чувствительными. Но как еще передать тоску детской души по матери, по ее теплу?

— Сейчас мы должны вернуть детям то, что недополучили сами, — проговорил Куприн и снова почувствовал, что не в силах выразить мысль так просто и глубоко, как Чехов.

— Должны, должны... — рассеянно отвечал тот, поднимаясь со скамейки, так как Мария Павловна знаками подзывала его. — Верно, должны каждой мелочью украшать и отношения между людьми, и саму землю... Послушайте, — остановился он перед Куприным, — при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и слепые овраги, все в камнях и чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавил он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста-четыре ста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна...

«Нет, это не заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, — размышлял Куприн, оставшись один на скамейке. — Это тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, страдающей от пошлости, грубости, скуки, насилия, праздности, дикости, — от всего ужаса и темноты современных будней...»

Голос Чехова, чуть насмешливый, словно таящий легкую иронию к собственным недавним словам, вывел Куприна из задумчивости:

— Ну, отважный боксер! Теперь ваша очередь повторить подвиг Елпатьевского. В мою калитку снова рвется вдова акцизного чиновника из Чебоксар!

Чехов — Куприну.
22 янв. 1902, Ялта.

«Дорогой Александр Иванович, сию извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему ОЧЕНЬ понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореш. Таврич. губ. и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему.

Рассказ для «Журнала для всех» пришел, дайте только «очухаться» от болезни.

Ну-с, будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего...

Ваш А. Чехов.

Рисунок М. Лисогорского